

ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ СМЕНА

Кажется, уже сто лет тому назад наш первый литературный критик по призванью спросил: "Есть ли у нас литература?" - и ответил, что еще нет, что есть писатели, книги, книжные лавки, но нет литературы. Прошло почти сто лет, и мы можем повторить то же самое в том же смысле, в каком об этом говорил старый критик, и в том смысле, в каком его мысль можно распространить далеко за пределы только литературы: у нас есть многое - много людей, не только обыкновенных, но, конечно, и гениальных, и гениальных, может быть, больше, чем обыкновенных, но у нас нет литературы, потому что у нас нет единства; у нас нет вообще культуры, потому что культура есть единство. У нас есть литературные явления, есть вообще культурные события, но они не связаны, не сцеплены таинственной связью в сознании. И здесь, задавая себе сразу тревожный вопрос: "Неужели вовсе ничем не связаны?", и отвечая на него, мы встречаемся с тем характерным в нашей жизни, в чем пока все несчастье, но в чем нет никакой безнадежности, потому что есть все возможности, которые могут и должны сказаться. Ответ мой такой: таинственная связь, объединяющая отдельные явления нашей жизни в единство культуры, есть, но она в возможности - и не в отвлеченной возможности (тогда о ней не стоило бы и говорить), но во возможности самой действительной, кровной, потому что эта таинственная связь, в этой кровной возможности, находится в самой народной среде. И не подумайте, что я имею в виду при этом нечто славянофильское или народническое, это было бы, если не прямо отвлеченно, то слишком расплывчено, - нет! под народной средой я разумею ту, о которой здесь и может быть только речь: об интеллигенции, о публике - применительно к литературе, читателям. Оставим сейчас тему более общую - о культурном сознании; единство русской литературы - связь, которая соединяет ее отдельные явления в единство, - находится не столько в нашей литературной критике, которая и должна была бы давать это единство, а в читательской среде. Читательская среда, как всякая народная масса, стихийна и полусознательна, но в смутной глубине своего сознания или же в мгновенном прояснении его русский читательский суд бывал вернее критики и имеет свои пути и свою удивительную историю.

С таким же каменным упорством, с каким наша критика держалась и держится старых литературных традиций (старинный спор шишковцев и карамзинистов, кажется, остается ее вечным символом), русская читающая публика с такой же стихийной неосмотрительностью сама выбирает себе кумиры и им молится, и если создает, в своей стихийности, порою культы случайных и недолговечных известностей, то разве не она же, помимо и вопреки критике, создавала популярность писателям настоящим, в то время как критика с глухим консерватизмом, именно с каменной непреклонностью целые десятилетия держалась старого? Я уже привел пример из далекой старины, но тем, кто знаком с проявлениями нашей критики в течение всего минувшего века, вспомнится и то, как и Пушкина, и Гоголя, и Лермонтова ценила публика, а не критика, и еще раз помянем добром Белинского за то, что

он говорил против голоса критики - в пользу голоса публики, и то, какой просто вздор говорила современная критика о Толстом, да и о Тургеневе, и о Гончарове, и о многих, многих других, между тем как и Толстого, и Тургенева, и Гончарова читали, и перед ними благоговели, и на них воспитывались, и как Чехов горько, уже в последние годы, говорил устами своего героя, но явно сам про себя, что - вот умрешь, и все будут говорить: "Да, хорошо, хорошо... а все-таки - не то, что Тургенев!" О Чехове, который в то время для русского читателя был необходимостью - родной, неотъемлемой! Правда, публика незадолго перед этим негласным культом Чехова создала громкий культ Надсона, а затем Горького, но, во-первых, именно эти не вполне заслуженные культуры критика того времени и склонна была поддерживать и им даже способствовала, а, во-вторых, разве при этом критика сделала что-нибудь для выяснения подлинных литературных ценностей, разве она в то время (80 - 90 годы) просто-напросто не отсутствовала? А отношение ее к властителю многих и многих дум - к Достоевскому? Словом, состояние критики и повинно в том, что отдельные литературные явления у нас не слились в сознательное единство и были отданы стихийному суду читателей, которые все-таки поддерживали ту страсть к литературе, без чего она не может быть, а не то, что развиваться; и пусть читатель делает ошибки - разумеется, он должен был их делать! - ошибки страстные, неосмотрительные, нодвигающие, и основное критическое сознание было в сердцах читателей, а не критики, которая или спала, или отсутствовала, или держалась юбилейных традиций, полувекового или векового срока, а в лучшем случае участвовала в преувеличенному культе ложных кумиров, но не вносила критического сознания, в чем, кажется, и заключается назначение критики! Так - публика и критика неслись; критика не руководила публикой, и, чем дальше, тем это несоответствие критики и публики раскрывалось все глубже.

Приблизительно с таких же размышлений начал свою литературную деятельность Д.С. Мережковский, когда он, еще совсем юношей, открыл курс публичных лекций, в первый раз сделавших его имя популярным, так как в то время он выступил еще только как автор лирических стихотворений - и до сих пор наименее значительного из всего им написанного, и смысл этих, теперь уже давнишних, размышлений осуществился на нем самом: Мережковский имеет читателей, он очень популярен, любим и влиятелен, но он не имеет критики. Собрание сочинений Мережковского во множестве томов (целых пятнадцать) не есть и для нашей дремлющей критики только количественный факт, но мы, пока она еще дремлет, можем спросить себя: "Что означает этот факт для русского читателя, который знает и любит Мережковского? Каким он его знает и за что любит?"

Мережковский есть одно из самых национальных наших явлений - и в этом тайна его непосредственного влияния. Он начал с лирических стихотворений, писал большие стихотворения в виде рассказов, переводил греческих трагиков, Дафниса и Хлою, читал публичные лекции, писал критические статьи, исторические романы, опять - статьи и целые исследования, критические, публицистические, написал историческую драму,

еще роман; основал религиозно-философское общество, развившееся из того кружка (сначала очень обширного, потом очень тесного), который собирался в течение нескольких лет у него на квартире. Но прежде всего и превыше всего Мережковский есть именно общественное явление, как бы ни были значительны его "сочинения", и самые сочинения его (не только его личность в них) есть общественное явление, ценность которого стоит перед нами еще не определенной в ее главном смысле. И сам Мережковский, после долгих умственных скитаний, пришел к идеализации общественности, потому что сам он есть воистину воплощение общественности - русской, но не в том, разумеется, совершенно обуженном смысле, в каком это слово привыкли у нас понимать под влиянием критики, с полвека тому назад, и с тех пор с наивной консервативностью держатся его, как в старину шишковцы держались Ломоносова! Герои в русской общественной мысли сменялись героями в течение целого столетия. Первым героем был Белинский (Герцена позабыли), потом - Чернышевский, Добролюбов, Михайловский, это - революционные герои; но всеобщий кульп Льва Толстого еще в 80-х годах внес нечто новое в психологию этого апофеоза: по отношению к Толстому совершилось уже поклонение не пред революцией только, но еще пред чем-то большим, чем революция, пред тем, во что входил и революционизм, или что было ему родственно, но главное - пред духом религиозно-общественного пророчества. И это поклонение Толстому было победой публики над критикой, потому что оно совершалось мимо нее и вопреки ей. Русская критика, начавшаяся (если не ставить вопроса академически) с Белинского и пройдя через (не считая пренебреженного Ап. Григорьева) Чернышевского, Добролюбова, Писарева, закончилась Михайловским; здесь - начало, расцвет и конец ее влияния. После того критика застывает в своем консерватизме, а большая часть публики идет независимо от нее и наряду с кульпом Михайловского - последним влиятельным критиком - создает самостоятельный кульп Толстого, не поддерживаемый влиятельной критикой. Что же сказалось в этом самостоятельном выборе кумира - и кумира уже не спорного, как бывало, раньше, а бесспорного, воистину великого (пусть даже не соглашаться ни с единственным словом Льва Толстого!)? Я уже сказал - революционный идеализм, как таковой, сменился религиозно-общественным пророчеством: настроение русских людей пошло в сторону богоискания. Это началось во всяком случае уже в 70-х годах. Кроме Толстого искателем Бога был и Достоевский, а вслед за ним Вл. Соловьев (сейчас не будем углубляться в далекое славянофильство, там, может быть, как раз и не было богоискания). Слово звучит в последние дни уже глухо, но я определяю Мережковского как историческое явление, и этим словом Мережковский должен быть обозначен в истории нашего общества едва ли не полностью. Выразим голос публики, которая давно уже не считается с утратившей влияние критикой и ждет критики новой: после Достоевского, Толстого и Соловьева пришел Мережковский и продолжает их религиозно-общественное дело. И если те трое были глубоко национальны, то тем самым уже, как продолжатель их, глубоко национален и Мережковский, но Мережковский поднял свою волну или и свои волны.

Примкнув очень рано к исканию "неведомого бога", как он сам обозначил свой путь еще в конце 80-х годов, он проявил в то же время те черты русского интеллигента, которые характерно оказались в линии "разочинца" (Белинский - Михайловский), формулированные певцом этой литературной группы в словах "святое недовольство".

...То недовольство, при котором нет

до:

И старцам говорит: пора в могилы!

Это собственно революционный инстинкт, - инстинкт развития вплоть до катастрофы, во что бы то ни стало, - в корне отрицание всякого консерватизма, инстинкт, который может принять какой бы то ни было консерватизм - в какой бы то ни было мере - лишь на время или по недоразумению:

Недаром ты, мужая по часам,

На взгляд глупцов казался переменчив...

Переменчивость – это определение Белинского, это - младенческая свежесть нашей сознательности, переменчивость, под которой бьется одно сердце - не переменчивое, одно и то же! Михайловский со своим состоянием "на славном посту" - это уже конец, это уже страчество; с Михайловским критика и перестает быть влиятельной, умирает, ее возрождает Мережковский. Он вернул ее к той юношеской тревоге, которую забил когда-то Белинский. Мережковский - такой же искатель: вот основа его "национализма", но искательство, упирающееся в голую революцию, осложнилось в Мережковском, пройдя через другую линию - Достоевский, Толстой, Соловьев - религией. Но жгучее "святое беспокойство" ведет его искательство к религии и революции одновременно. Поэтому так обаятелен Мережковский для публики, которая правее критики, способной до сих пор писать целые исследования о мировоззрении Михайловского или Чернышевского, как о какой-то непреходящей ценности (что касается Белинского - о нем не может быть и спора: он - начинатель, и в нем была личная гениальность, ему вечная слава!), и не замечать того, что идет вслед за ними. В Мережковском соединились две исконные, две национальнейшие общественные линии, скрестились революция и религия, в его сознании и сливаются эти две линии, казавшиеся до тех пор безнадежно параллельными. Прав ли он? возможно ли? и даже - хорошо ли? для религии? для революции? Все это конечно - вопросы, и не Мережковским кончается наше общественное сознание; но опыт такого соединения, притом опыт, произведенный не в отвлечении, а в самом сердце - больном и страдающем, кровно связанном с русской литературой, - есть событие.

Я поставил Мережковского в ряду развития русской критики, и совершенно сознательно, потому что он - по преимуществу критик, уже по природе своей критической воспламененности, - пусть его идеология всегда больше интуитивна, чем диалектична, но разве его диалектике кто-нибудь верит, как диалектике? Он интуитивен и диалектичен одновременно, и в этом его умственная позиция, как ума в высшей степени современного и

своевременного. Все, что он писал, всегда было собственно критикой, и недаром в действительном блеске его писательский талант сказывается именно в той общественно-литературной критике, в которой он притом так и особенно национален. В его стихах, изящных и благородных, его дарование только мерцает и иногда слишком тускло; в романах продуманных и часто увлекательных, его образы светят нередко недостаточно художественным свечением, т. е. не вполне сосредоточенным, жизненным, органическим, между тем как Мережковский именно - весь сосредоточение, жизненность, органичность. И таков он в своих статьях критических, общественных - и особенно литературно-общественных. Здесь он весь, здесь возрождение критического духа Белинского, преображенного в новом блеске и, я думаю, превзойденного. Ни чисто эстетическая, никакая другая - чистая, голая - критика, русскому обществу несродна; слишком органично, жизненно оно. Для него литература - наше все, как выражался когда-то Ап. Григорьев, и потому-то оно и создало, и поддержало, и вынесло на своих плечах такую литературу, которая, если принять во внимание все невозможные условия, как среду, ее окружавшую, есть (позволю себе привести первые слова, которыми я когда-то начал свою первую критическую заметку по тому же вопросу) наше сокровище, наше чудо, наша истина!

В стихотворениях Мережковского слишком много критического сознания для лирика, в романах тоже, - и притом еще исторического, - переводчик Мережковский, конечно, всегда - внутренне критикующий; и во всем это - критика не чисто эстетическая - отнюдь и никогда нет! - и не только философская, и не прямо общественная, но критика вообще, в целом, сливающаяся в том понятии, которое раньше так любил Мережковский, - культуры. В этом ее действительное единство. И у кого до Мережковского в нашей критике было это единство? Его хотели видеть у Белинского, но у Белинского оно было только в зачатках - юношеских и наивных. У Ап. Григорьева? - но он был, при всей своей бурности и прозорливости, отравлен слишком бытовым национализмом. Конечно, ни у кого из школы Белинского вплоть до Михайловского. Может быть - у Страхова? Но Страхов был прежде всего бледный и маловпечатлительный ум, и его одиночество и неизвестность - не только случайность.

Итак, вот на что надо указать в Мережковском, как основное свойство его писательской личности, это – несмотря на всю его субъективность, горячность, даже нетерпимость, увлечения, крайности, - стремление, еще вернее, жажда синтеза, синтеза не отвлеченного, философического, уравновешенного, но того синтетического чувства общественности, которого больше всего ждало и ждет русское общество, внутренно, бессознательно для себя религиозное. И не одной только умственной формулой является формула Мережковского - религия и революция, или - шире и точней - религия и общественность, которые отвлеченно сливаются в понятии культуры, а в действительной жизни обуславливают подлинно-национальный характер и нашего общественного сознания, и нашей литературы.

Мережковский первый открыл в этом смысле для нас наших великих

писателей - Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Достоевского, поставил их в новое положение, и теперь мы уже пользуемся его открытиями, как шаблонами, так же, как и многими его выражениями и оборотами - не только слова, но и мысли - сами того не замечая. И эти новые и живые открытия и слова вытеснили наконец омертвевшие у нас в течение полувека. И опять скажу: Мережковский - не один, конечно, но он - самый крупный знак последнего литературного двадцатилетия, и притом - начинатель, если не считать В. Соловьева, который ему предшествует и который был всегда и во всем философичен, тогда как Мережковский прежде всего и по преимуществу - критик, - такой, каким критик и должен быть, т.е. стоящий и колеблящийся на всех границах, соприкасающихся с ней, - и поэзии, и общественности, и философии - в данном случае религиозной.

Мережковский-критик постоянно переходит в Мережковского-поэта, его поэзия постоянно соскальзывает в философию культуры. Что художественнее - его романы или же его критические статьи, или публицистические? Это так же, как у Герцена, но у Герцена были именно разные области проявления, объединяемые вообще в единстве его гения, у Мережковского это-то как раз и характерно. Таким образом он явил собой новый тип критического, еще лучше - культурно-критического сознания, в котором не объединяются или сливаются, но разрешаются разрозненные звуки нашей умственной культуры, поэтому роль Мережковского для нашего времени подобна той, которую имел полвека тому назад Белинский, но не в узком отношении к одной области - к литературе (так как и роль Белинского была же иная!), а та самая, какую приписывали Белинскому, называя его "центральной натурай" своей эпохи. И взаимоотношения Мережковского и Вл. Соловьева - с одной стороны, и Белинского, и Герцена - с другой, напоминают друг друга, хотя только отчасти. Но я сделал это сопоставление, чтобы в заключение еще раз, поставив Мережковского около Вл. Соловьева, разграничить их значение для нас: Герцен создавал для Белинского ту идеологическую почву, на которой Белинский стал проповедником; то же самое и Вл. Соловьев по отношению к Мережковскому, но Белинский и Герцен были сверстниками, и Белинский не сходил и наверное никогда не сошел бы с почвы герценианства; Мережковский идет за Соловьевым, но, во-первых, не только за ним, но и за Толстым, и в особенности - за Достоевским, а, во-вторых, в сторону от Соловьева, хотя идеологическая почва создавалась еще Соловьевым.

На этой подготовленной почве Мережковский становится проповедником, как выразитель не собственно философской идеологии, а централизующего критического сознания; но синтезируя, Мережковский не остается ни на одну минуту на философской кафедре; он, скорее, мог бы, сойдя с ее ступенек, взойти на ступеньки другой кафедры, на которую всходил Лютер или Цвингли, но он остается на улице, на площади - и в этом его огромное значение, потому что час для того, другого шага, если и очень близок, то еще не настал, и его сделает, может быть, уже не Мережковский, а кто-нибудь другой или другие, так страстно вызываемые им из среды русского

общества: "Где ты, жив человек, откликайся?" - чтобы не только по древнему - пророческому, но и по более близкому нам, нашему национальному завету, слово стало плотью (Евангелие), мысль - не мечтательностью, а делом (Белинский - Чернышевский - Добролюбов).

Есть надежда на это – и очень большая – в том, что Мережковский признан публикой помимо или даже вопреки критической литературе. В этом читательском признании Мережковского русское общество вступило в новую стадию своего развития, в ту самую, которая характеризуется личностью Мережковского, но только еще бессознательно или полусознательно для себя.